



## Б. Н. ТАРАСОВ

### Рождение мыслителя

<...> В деревню он приехал не только для свидания с родственниками и из-за отсутствия своего угла, но и по «философским» соображениям. Здесь он надеялся найти необходимое уединение, чтобы погрузиться в чтение приобретенных за границей книг и переварить полученные там впечатления. Немалую роль играли и «физиологические» мотивы. Один день, проведенный в деревне, помечает он особым знаком слова в книге «Искусство продлевать жизнь», ценнее любых эликсиров. А «эликсиры» ему сейчас очень нужны. Позванивание в ушах, боли во лбу и в затылке, головокружение, учащенное сердцебиение, предчувствие обморока — все эти симптомы вызывают у него тревогу за собственное здоровье и усиливают тоску до такой степени, что никого, даже тетку, не хочется видеть.

Особенно ему тяжело пробуждаться от сна и начинать новый день, когда без всякой видимой причины тяготит любая мелочь и кажется немилым весь белый свет. По утрам он подолгу лежит в постели, ожидая большего прилива тепла от затопленной дворовым человеком печи, и смотрит в узкое окно, где в холодном сыром тумане поздней осени едва различимы соломенные крыши домишек крепостных Анны Михайловны. Соломенная кровля после красивой черепицы европейских деревень (и тут в его памяти на мгновение мелькнули английские коттеджи) почему-то особенно раздражает его. А это бесконечное, с весны до осени, ковыряние в земле допотопными орудиями, постоянная возня в грязи хлева? Нет для него в таком унылом и печальном однообразии ни красоты быта, ни одухотворенности традиций, ни нравственной целесообразности. И не может быть их у рабов, не имеющих чувства собственного достоинства и живущих для утех своих господ. В самих лицах крестьян ему видится, как он запишет, «какая-то странная неопределен-

ность, что-то холодное и неуверенное, напоминающее отчасти физиономию тех народов, которые стоят на низких ступенях социальной лестницы. В чужих странах, особенно на юге, где физиономии так выразительны и так оживленны, не раз, сравнивая лица моих соотечественников с лицами туземцев, я поражался этой немотой наших лиц».

Соломенные крыши вдруг снова приковывают к себе его внимание: ему начинает казаться, что за ними в мгlistом тумане разверзается какая-то гигантская пустота, готовая вот-вот втянуть в себя и домишки с их обитателями, и помещицу с ее племянником. Но он знает, что дальше леса, леса, леса, лишь изредка прерываемые открытыми холмами, полями и водоемами, а потом степи, степи, степи, и снова леса на необъятном огромном пространстве. Есть, конечно, там и другие села, и большие города, и Москва, и Петербург. Но и обе столицы представляются ему большой деревней, проглоченной серым туманом беспредельного небытия, и в них он видит ту же тоскливую неопределенность, и немоту лиц, только гладко выбритых, а не бородатых, только прозябающих в казармах и департаментах, а не на пашнях и огородах. То же «мимолетное существование особи», забывшей свое прошлое, не думающей о своем будущем и рядящейся в модные одежды европейской цивилизации.

Однако было ли что забывать, мысленно спрашивает себя Петр Яковлевич, была ли у России последовательная история и прочная нить культуры, на основании которых позволительно заглядывать вперед? «Весь мир перестраивался заново, а у нас ничего не созидалось; мы по-прежнему прозябали, забившись в свои лачуги, сложенные из бревен и соломы. Слава, новые судьбы человеческие совершались помимо нас». Такими словами он выразит вскоре свое теперешнее настроение, а сейчас, похоже, отвечает на возникшие вопросы, породившие и другие. Но почему же так происходит, думал Чаадаев, неужели мы всего-навсего «любопытная страница географии земли», «человеческий продукт больших пространств», равно поглощающих и историческую память, и не связанные с ней свежие идеи, как поглотили они и его друзей декабристов? Неужели в мертвящих просторах заключается неоспоримая сила России, ее высокое предназначение?

Не находя решения тоскливых вопросов, Чаадаев дает волю отошедшим было в сторону заграничным воспоминаниям. Подскажут ли они правильный ответ? Когда он думает о Европе, ему чудится, будто узкое окно расширилось и в него вставили цветные стекла с обратным увеличением, сквозь которые за-

глянули в уже согревшуюся избу яркие лучи жгучего солнца и кусок голубого итальянского неба. Малое пространство занимают страны Запада, размышляет Петр Яковлевич, но как оно разработано, ухожено и окультурено на каждом клочке. Какая четкость контуров и красочность взаимообусловленных обычаев, законов, искусства, науки, философии, политики, религии на всем своем историческом протяжении! Святые, императоры, трубадуры, скальды, схоласты, готические соборы, университеты, крестовые походы, революции, Платон, Христос, Данте, Ньютон, Гете и многое другое и многие другие теснятся сейчас в его голове. Но ведь должна же быть во всем этом, задает он себе очередной вопрос, и общая цель: «Разве всеобщая история может быть случайной?»

Цепляющиеся друг за друга проблемы наконец отвлекают взор Чаадаева от соломенных крыш, несколько развеивают его мрачное настроение и вытягивают из постели. После тщательного туалета, столь же строго соблюдаемого и в сельском уединении, он завтракает и идет к своим книгам.

Священное писание и его толкования, решения вселенских соборов и катехизисы, теологические словари и истории католических орденов, античные комедии и сочинения греческих мыслителей, древняя, средневековая и новейшая история, «Божественная комедия» и «Потерянный рай», «Илиада» и «Фауст», физиология и анатомия, математика и логика, физика и химия, астрономия и геология, риторика и право, лютеранство и кальвинизм, сектантство и ислам, Монтень, Спиноза, Лейбниц, Сведенборг, Фихте, Кант, Шеллинг, библиографические справочники, энциклопедии по искусству, каталоги выставок — все эти произведения, предметы, авторы, как и многие иные, привлекаются в помощники, внимательно читаются и изучаются Петром Яковлевичем с карандашом в руках.

Владея основными европейскими языками, читая по-латыни и по-гречески, Петр Яковлевич погружался в отличные друг от друга области знания, отражающие разные грани бытия, и пытался найти в них нить внутренней взаимосвязи и целесообразности, что требовалось ему для решения вопроса о неслучайности мирового исторического процесса.

Вместе с тем озабоченность философско-исторической метафизикой неразрывно срослась в его душе с личными проблемами. Изучая научный труд Шпурцгейма о сумасшествии, он находит у себя многие признаки опасного заболевания. Сам больной, очеркивает Петр Яковлевич слова ученого, не способен заметить расстройств в своих умственных действиях, иног-

да его интеллектуальные возможности могут даже увеличиваться. Не сделав никаких замечаний в абзацах о маньяках, он с большим вниманием читает раздел о меланхоликах, которых их раздражительность и печаль могут привести к нарушениям не только мозговой, но и пищеварительной деятельности. К причинам меланхолии Шпурцгейм относит влияние солнечного жара, продолжительного поста, злоупотребления алкоголем, сидячей жизни и т. д. Но Чаадаева заинтересовывают другие причины, когда речь заходит о гордости и тщеславии, ненасыщаемость которых вызывает у человека беспокойство и подозрительность, капризы и эксцентризмы, высокомерие и наглость — вплоть до потери всякого стыда и самоубийства. <...

Уже в течение нескольких лет в его душе происходила основательная и незаметная для окружающих перестройка, порожденная, как известно, открывшейся перед ним смысловой пропастью между конечностью (смертностью) его отдельного существования и бесконечностью (вечностью) бытия. Чтобы преодолеть эту пропасть, он стал, по собственному выражению, «искать религию», о чем свидетельствуют и формирование новой библиотеки, и замечания в письмах к брату о природном величии, и своеобразии проявленных интересов во время европейского путешествия, и, наконец, «озарившая» его встреча с Куком, ускорившая решительный выбор. Однако, несмотря на подспудно расширявшийся и целеустремленно накапливавшийся религиозный опыт, зияющая пропасть заполнялась с трудом, что и создавало у него внутреннее напряжение, болезненное состояние, беспросветный меланхолический настрой,

Петр Яковлевич чувствует, что отрава, беспрестанно подмигивающаяся в его существование, заключается во «внутренней силе», в свободной воле, ощущение которой отделяет его от целого, неумолимо влечет любить самого себя, свое отличие и обособленность от других людей. И развитие личного начала, «жизни в себе», показывает ему, что его свободная воля оказывается на поверку прикованной к «земному интересу».

Вот он стремился когда-то к благополучию и счастью, к почестям и славе, и, наверное, хорошо, что не добился их. Ведь даже обыкновенное повышение по службе, вспоминает отставной ротмистр, почему-то возвышало его в собственных глазах, и он вдруг казался себе еще умнее, чем прежде, и вместе с тем делался, еще более нечувствительным к происходящему рядом с ним. Если и соболезнавал чужому горю, то как-то отчужденно, совсем не ощущая его в себе, сострадание же к ближним иной раз походило на презрение к ним. Когда же ранее не замечае-

мые слабости этих самых ближних задевали его самолюбие, он не умел их терпеливо сносить.

Перелистывая сейчас страницы книги «Подражание Иисусу Христу», Петр Яковлевич наткнулся на сделанную еще за границей запись на полях, лишней раз напоминавшую ему о том, что он, говоря словами Пушкина, лишь для себя хочет воли: «Брат, бедный брат!» Испытывая сложное чувство жалости к Михаилу и вины перед ним, он написал тогда грустные слова рядом с подчеркнутыми в тексте и относимыми к себе: «Мы крайне чувствительны к страданиям, причиняемым другими, и не замечаем, как другие страдают от нас».

Выделяя задевшую внимание фразу, Чаадаев подумал, что одна из главных причин такой несправедливости в его отношении к людям заключается в стремлении постоянно находиться в счастливом покое, доставлявшемся ему недавно блестящей карьерой, видным положением в обществе и лестными репутациями. Теперь он видит признаки явной глупости в этом «безумном самодовольстве» и «еще более безумном равнодушии ко всему окружающему», которое находит, пусть и совсем на другой лад выраженное, и в проповедях перечитываемых им в долгие осенние вечера античных философов. Несколько же лет назад он сам постоянно искал подобного состояния, поскольку ощущения от успехов быстро проходили, что вносило в душу Петра Яковлевича сильное раздражение, рождая в ней помыслы о новых достижениях. Но и их осуществление, происходило ли оно в «карьерной», «светской» или «идейной» форме, лишь на время успокаивало непрерывно возбуждавшееся тщеславие, искавшее утешения, когда оно лишалось настоящей питательной среды, в самых незначительных предметах — в старинной мебели, элегантно одежде, изысканных безделушках и малейших знаках внимания, особенно для него важных, со стороны окружающих.

Разворачивая перед своим умственным взором духовную картину прожитых лет, Чаадаев обнаруживает, как часто случилось ему чрезмерно заботиться о мнении других людей, невольно цепляться за пустые привязанности, от чего зависело его душевное равновесие. Для благоприятных же отзывов со стороны окружающих необходимо было отчасти жить воображаемой жизнью в их глазах и неосознанно приукрашивать свое подлинное существо, что все вместе искажало его отношения с ними. Он кажется сейчас самому себе каким-то актером на светской сцене, играющим чужую роль и испытывающим огромное нервное напряжение для имитации естественности создаваемого

образа. Подобное напряжение, замечает автор «Искусства долгой жизни», не только вызывает нарушения в пищеварении и кровообращении, но и сокращает жизнь.

Петр Яковлевич видит и другие, принципиальные для него последствия. В таком состоянии, размышляет он, сознание как бы «сокращает» всякое явление действительности за счет проекции на него своих индивидуальных особенностей и потребностей, поиска в нем собственных отражений и тем самым искажает его подлинность. Причем ненасытный молох самолюбия, словно вампир, питающийся чужими жизнями, неизбежно требует умаления и обесценивания всего окружающего, ибо без соответствующего приниженого фона незаметны его отличительные и выделяющие черты.

Но это, так сказать, пределы. В реальной же действительности, размышляет Петр Яковлевич, он старался распространять «сокровища гражданственности», сеять мысли об освобождении крестьян от крепостного права и заботиться о благе всего человечества. Но теперь он понимает, что в основе его благих устремлений лежала скрытая эгоистическая выгода усиленного самосохранения, любовь к людям «в своем интересе», а не в их. «Что бы мы ни делали, — обобщает он чуть позднее, — какую бы незаинтересованность ни стремились вложить в свои чувства и поступки, руководит нами всегда одна только эта выгода, более или менее правильно понятая, близкая или отдаленная. Как бы ни было пламенно наше стремление действовать для общего блага, это воображаемое нами отвлеченное благо есть лишь то, чего мы желаем для самих себя; в желаемое нами для других мы всегда подставляем нечто свое».

Вот и его незабвенные друзья декабристы, думает Чаадаев, подставили, не сознавая того, «нечто свое» в страстную проповедь свободы. Ну а дальше-то, дальше, восклицает он мысленно, что стали бы с ней делать эти благородные страдальцы, если бы получили возможность «раздать» ее людям? Не пошли бы «свободные люди» дорогой «дикого осленка», подчиняющегося любому прихотливому желанию для своего «счастья», пли путем уклонившегося от правильного движения атома, принимающего возможность такую уклонения за самую правильность, за последнюю стадию прогресса? «Предположим, — станет он рассуждать в философических письмах, — что одна-единственная молекула один только раз приняла движение произвольное, что она, например, вместо стремления к центру своей системы сколько-нибудь отклонилась в сторону от радиуса, на котором находится. Что же при этом произойдет? Не сдвинется ли с места

всякий атом в бесконечном пространстве? Мало того, все тела стали бы по произволу в беспорядке сталкиваться и взаимно разрушать друг друга. Но что же? Понимаете ли вы, что это самое делает каждый из нас в каждое мгновение? Мы то и дело вовлекаемся в произвольные действия, и всякий раз мы потрясаем все мироздание. И эти ужасные опустошения в недрах творения мы производим не только внешними действиями, но каждым душевным движением, каждой из сокровеннейших ваших мыслей. Таково зрелище, которое мы представляем Всевышнему. Почему же он терпит все это? Почему не выметет из пространства этот мир возмутившихся тварей? И еще удивительнее — зачем наделил он их этой страшной силой?»

Страдая в поисках ответов на подобные вопросы. Чаадаев воображает себя одним из таких блуждающих атомов, участвующим вместе с мириадами и мириадами других в «раздергивании» Вселенной на части. Когда он в очередной раз углубляется в испещренное карандашом Священное писание, то почти физически слышит описанный в Апокалипсисе «треск мироздания», раздающийся, как ему кажется, в каждую минуту истории и увлекающий в пропасть взбунтовавшиеся своевольные и «счастливые» атомы.

Да, смерть и небытие на конце того пути, по которому он так уверенно шел и по которому продолжают «победно» идти тысячи людей, увлекая за собой другие тысячи. Но почему он так боится смерти? Ведь он еще в юности видел проливающуюся кровь и не терял бодрости духа. Читая в книге Дроза «Искусство быть счастливым» о человеке, одолевшем благодаря мужеству гибельную ситуацию, Петр Яковлевич вспомнил похожий случай из собственной жизни, поставил на полях специальный знак и дату 1812. Да, в те военные годы, отодвинувшиеся теперь так далеко, будто и вовсе не существовали, он был мужественным, а потом вдруг появился страх, даже ужас, перед последним выпадением своего родного и неповторимого «я» из потока жизни в какую-то бездонную пропасть. «Страшно подумать, что настанет день, когда я не смогу сказать: я! — писал восемнадцатилетний Лермонтов М. А. Лопухиной. — При этой мысли весь мир есть не что иное, как ком грязи».

Испытывая подобные чувства, Чаадаев одновременно спрашивал себя: постигает ли он причину своего ужаса перед смертью? Вот Марк Аврелий советует спокойно ожидать конца и думать о нем как о простом распаде элементов тела, без боли переходящих друг в друга. А ему, подчеркивавшему в книге античного философа рассуждения о самоубийстве, невыносима

мысль (почему-то еще более страшная, чем исчезновение «я») о длительных физических страданиях и о медленном разложении тела, лишенного привычных элегантных покровов, на которое будут смотреть некогда восхищавшиеся им люди (именно мгновенность агонии, всплывает вдруг в памяти Петра Яковлевича, манила его броситься в пропасть со швейцарской скалы). Однако он не знает, какая смерть и какие страдания ожидают его в будущем, а сам факт уничтожения волнует его менее. Тогда в чем же более существенная причина страха? Не в том ли, предполагает он, что смерть есть лишь момент в целостном бытии человека, когда тот перестает ощущать себя в своем теле и начинает жить другой, новой жизнью, неизвестность которой и страшит его?

И не мертвы ли мы тогда, переключается мысль Чаадаева на более понятные вопросы, когда считаем, что живем? Часто по утрам, пробуждаясь и глядя по привычке в заиндевевшее окно на уже засыпанные снегом соломенные крыши, он думал, что сон не подобие смерти, а настоящая смерть, ибо нельзя назвать жизнью часы, проведенные без сознания. И не спят ли люди, а стало быть и мертвы, не гиперболически-фигурально, а буквально мертвы, когда отдаются течению обстоятельств, а не созидают их каждое мгновение по законам высшего знания? И сам он долго спал, и жизнь постоянно ускользала от него, пока наконец он не пробудился. «Был мертв и ожил, пропадал и нашелся», — подчеркивает Петр Яковлевич евангельские слова.

## 6

Однако это пробуждение причиняло острую боль от сознания огромной «внутренней силы», пошедшей по узкому кругу жалкой «жизни в себе». Но именно отчаяние и тоска, которые, как он недавно прочитал, Ламенне называет «особым видом идиотизма», породили в Чаадаеве острое ощущение ничтожества мнящего себя богом независимого и «пагубного Я», не только безумно движущегося к небытию, но и на мир смотрящего сквозь призму своего «злого разума». А предельность этого ощущения вдруг неожиданно заставила его почувствовать над собой какую-то «внешнюю силу», требующую «блуждающий» атом подчиниться «всеобщему распорядку» и двигаться по своему радиусу к центру системы. «Я семь Альфа и Омега, начало и конец», — день и ночь звучал в его ушах глас этой силы, говорившей, что не может быть богом конечное и уничтожимое существо. По-

началу ум Петра Яковлевича не принимал и даже сопротивлялся воздействию этой силы, но непривычные душевные движения, никак не связанные со всем его прошлым опытом, властно напоминали ему, задышающемуся в чисто человеческих пределах, о ней. Он вдруг чувствовал себя лишенным «нам принадлежащей силы», и тогда в его сознание вторгалось «внеземное озарение, которое опрокидывает целиком ваше существование и ставит выше вас самих и всего, что вас окружает», но вместе с тем укрепляет потребность «подчиниться тому, что зависит не от нашей преходящей природы, не от волнений нашей изменчивой воли, не от увлечений наших тревожных желаний».

Самой настойчивой и покоряющей среди новых истин, пробужденных ощущений и внушенных чувств была для Чаадаева мысль о беспредельном всемогуществе бога, являющегося для него теперь единственно абсолютной и благой реальностью. В черновых записях он замечает, что все его существо восстает против идеи вменить этому всемогуществу какое-либо несовершенство. Ужас же перед таким возможным ограничением он называет путеводной звездой своей философской деятельности.

Теперь вопросы о том, почему всевышний терпит человеческую свободу и не сметет с лица земли «мир возмутившихся тварей», кажутся ему нелепыми, ибо их ставит «искусственный разум», ищущий везде стесняющей логической закругленности и требующий у всеустроющей и непостижимой божьей воли отчета в ее «непоследовательности». Но почему бог должен соответствовать меркам нашей слабой разумной способности, рассуждает Петр Яковлевич, мучаясь особенно большим для него вопросом о попустительстве творца в выборе человеком зла? В том-то и дело, набрасывает он в записной книжке, что «великий закон противоречия» растворяется в божественном всемогуществе, «невозможное человеком возможно Богу». Бог «так восхотел» — этот ответ сейчас вполне удовлетворяет Чаадаева.

И для него теперь нет задачи главнее (ее на полях читаемых книг он нередко обозначает восклицанием — *O altitudo!*\*), как проникнуться расширяющим границы мышления и очищающим душу «созерцанием божественной воли, властвующей в веках и ведущей человеческий род к его конечным целям». А для этого, считает Петр Яковлевич, необходимо повернуться на 180 градусов — полностью освободиться из плена эгоцентрической свободы и автономного самосознания, признать главенство подчиненности над свободой и зависимость устанавливаемого

\* *O высота (итал.)*.

нами для себя закона от общего закона мирового. Тогда, «потерявшись» и «слившись» с «верховой волей», вместо обособленного индивидуалистического сознания человек может усвоить всеобщее и почувствовать себя частью «великого духовного целого». И Чаадаев не устает повторять помеченные особым знаком слова Иисуса Христа («...не чего Я хочу, а чего Ты») и его молитвы («да будет воля Твоя и на земле, как на небе»). Не моя, а твоя, твоя, твоя, твердит он над слабо освещенным догорающей свечой Евангелием, между тем как тетка Анна Михайловна давно уже спит под завывание зимнего ветра в соседней комнате. В одну из таких минут, когда ему кажется, что заветная твердыня вот-вот будет обретена, он записывает на полях сочинения англичанина Доддриджа «Возвышение и развитие в душе религиозных чувств»: «Да, Боже мой, я вошел в себя, заглянул в сокровенную глубину своего сердца и увидел, что хочу покоя лишь для Тебя... дай мне этот покой». <...>

Чаадаев сильно терзается от того, что хорошо понимает высоту и справедливость евангельских требований, однако не исполняет их, думает одно, а поступает по-другому, ненавидит крепостное право и не перестает пользоваться его плодами. Ведь он, например, не только не способен раздать свое имение нищим, с горечью признается себе Петр Яковлевич, но ему, как помнится, и в юности, все так же не хватает «покоев с мебелью», необходимы слуги, нужны деньги. Именно поэтому его притягивают компромиссные и казуистические наставления Сенеки, отмеченные специальным знаком: мудрец не любит богатства, а предпочитает его, открывает ему не сердце, а дом, умеренно пользуется им, а не отбрасывает. Да и как же иначе, решает Чаадаев, когда опять долги, непрерывные долги незримо преследуют его через сотни заснеженных верст и здесь. <...>

Избыток самых разных и противоречивых «вещей» не только мешают Чаадаеву взяться за послание к друзьям, но и вносят в его душу сначала какое-то непонятное, а потом привычное чувство, порожденное чтением книг. «Доказательством неизбежной связи мыслей, — замечает он на втором томе «Опыта об индифферентизме» Ламенне, — являются странные совпадения. Иногда умы, исходившие из того же принципа, как и Вы, встречаются с Вами в своих заключениях». Самое же странное в таких совпадениях было то, что он начинал ощущать большую интимную родственность с авторами рассуждений и сочинений, созвучных его мыслям, нежели с ближайшими людьми. Подтверждением обнаруженного господства идейных уз над кровными служит для него беспрестанно возникающий в со-

знании образ английского миссионера Кука: «С этим человеком провел я несколько часов, скоро протекших, почти мгновение, и с тех пор не имел о нем никакого известия. И что же? — теперь я наслаждаюсь его обществом чаще, нежели обществом прочих людей. Каждый день воспоминание о нем посещает меня; оно приносит с собою такое волнение, такую сердечную думу, что укрепляет против печалей, меня окружающих, защищает от частых нападений уныния. — Вот общество, приличное существам разумным! Вот как души действуют взаимно одна на другую: но ни время, ни пространство препоною быть не может».

В пространстве же и во времени наблюдается несколько иная — «неразумная» картина. <...>

В минуты особенной раздражительности и угнетенности духа Чаадаев подумывает покинуть Алексеевское. Но где жить? Из сохранившихся друзей интимно и «идейно» понять его надлежащим образом мог только Д. А. Облеухов, с которым он часто встречался, наезжая в Москву, после выхода в отставку до отъезда в Европу. Петр Яковлевич оказался тогда свидетелем неполного «обращения» в христианство своего товарища, в чьей душе радость и покой чередовались с печалью и даже отчаянием. Что же теперь происходит с ним, спрашивал себя деревенский отшельник, преодолел ли он кризис, и если да, то как? И нельзя ли побыть у него какое-то время? <...>

Беседа двух друзей состоялась осенью в Москве. В ней Чаадаев мог узнать о духовных метаморфозах энциклопедически образованного математика за истекшие с последнего свидания четыре года. Когда они в тот раз расставались, Петр Яковлевич подарил ему несколько книг немецкого мистика Юнга-Штиллинга, явившегося, по собственному признанию Облеухова, «наиболее действительным орудием, которым Богу благоугодно было воспользоваться для моего спасения». Наиболее интересные и важные для себя рассуждения последний переносит в специальный дневник, где преобладает стремление «согласовать разум с откровенными истинами» в подробном описании посмертных «приключений души», пребывающей в зависимости от привязанности к земным страстям либо при своем теле во гробе, либо в туманной оболочке вокруг Земли, либо в чистых областях света и испытывающей соответственно месту разную степень страдания и блаженства.

Вскоре после первого свидания Петр Яковлевич получил от своего постоянно болевшего университетского приятеля последнюю записку: «Любезный друг, я уже четвертый день слег в постель и очень бы желал Вас видеть; если можно, посетите меня...»

Консилиум врачей на сей раз признал положение больного безнадежным, и он хотел проститься с другом и, видимо, передал ему свой «мистический дневник» (до графологической экспертизы Д. И. Шаховского приписываемый исследователями архива Чаадаева автору «Философических писем»). Однако, как увидим дальше, основная тональность творчества Петра Яковлевича была противоположна умонастроению Облеухова, чья метафизика казалась первому слишком «высокой». Идя вместе до определенного момента, они резко расходились в стороны, и образ мысли друга послужит Чаадаеву своеобразным отрицательным фоном для развития собственной идейной логики.

Смерть Облеухова в декабре 1827 года и кончина шестью месяцами ранее Сергея Тургенева, за которым Петр Яковлевич ухаживал в Дрездене, усилили тоску в его душе. Вместе с тем после годичного пребывания в Алексеевском Чаадаев почти переселился в Москву и часто бывал вместе с братом в семье другого университетского приятеля, сосланного декабриста Якушкина. «К грустным, тяжелым воспоминаниям о самых близких людях, в нем (восстании 14 декабря. — Б. Т.) безвозвратно погибших, — пишет М. И. Жихарев об угнетающих Чаадаева впечатлениях, — присоединилось еще печальное, унылое зрелище их осиротелых и огорченных семейств».

Михаил Чаадаев вместе с женой Ивана Дмитриевича Анастасией Васильевной и ее малолетними детьми в напрасном ожидании провел почти месяц в Ярославле, куда должны были этапировать ссыльного. Много лет спустя Якушкин с теплым чувством вспоминал об этом, как он выражался, «прекрасном подвиге» друга, с родственной теплотой заботившегося о его семье. Когда наконец Анастасия Васильевна после третьего приезда в Ярославль осенью 1827 года повидалась с мужем, в первые по возвращении дни все ее помыслы были направлены на то, чтобы любыми путями разделить суровую участь Ивана Дмитриевича. Ее душили слезы, сердце разрывалось от отчаяния, и в таком состоянии понимающим помощником оказался Михаил Яковлевич Чаадаев, на попечении которого она даже собралась было оставить детей и броситься к мужу в Сибирь. «Я люблю говорить о тебе только с Мишелем Ч[аадаевым], — вела она мысленный разговор с Якушкиным на страницах своего дневника, — это единственный человек, который знает тебя так, как тебя нужно знать... он видит тебя таким же, как я вижу тебя, и мне так хорошо от этого, что я не могу сказать тебе...»

Что касается Петра Чаадаева, так же вполне разделявшего горе жены опального друга, то его отношения с ней носили бо-

лее «философический» характер. «Петр Ч[аадаев], — записывает Анастасия Васильевна в конце октября 1827 года, — сказал мне, что я говорю только глупости, что слово “счастье” должно быть вычеркнуто из лексикона людей, которые думают и размышляют. Я тоже сказала ему, что он говорит глупости, не так прямо, как он мне изволил указать, но вполне вежливо». Петр Яковлевич пытается, исходя из своего опыта и исследовательских штудий, убедить Анастасию Васильевну в тщете земных устремлений и в необходимости найти опору в более высокой точке отсчета, рекомендует ей соответствующие книги. «Мне кажется, — замечает она в дневнике, — что он хочет меня обратить. Я нахожу его весьма странным, и, подобно всем тем, кто только недавно ударился в набожность, он чрезвычайно экзальтирован и весь пропитан духом святости... Ежеминутно он закрывает себе лицо, выпрямляется, не слышит того, что ему говорят, а потом, как бы по вдохновению, начинает говорить. Маменька слушает его с раскрытым ртом и повторяет вслед за Мольером: “О великий человек” \*, а я говорю потихоньку “Бедный человек”... Он мне говорит только дерзости и этим забавляет меня. Все это вытекает, как говорит маменька, из необыкновенно чистого источника набожности, простоты и всего, что с этим связано...»

## 7

Маменька, Надежда Николаевна Шереметева, и ее дочь уловили разные грани умонастроения Чаадаева, в чьей душе причудливо для окружающих и мучительно для него самого соединились амбициозность и смирение. Неисчислимы разнообразные отметки и подчеркивания в тех местах прочитанных Петром Яковлевичем книг, где речь идет об умалении претензий «пагубного Я». Для ясного видения истины, пишет он, надо «не смотреть сквозь себя», что представляет для него большую трудность: «Как я ни бьюсь, между мною и истиной вечно становится что-то постороннее; и это постороннее — я сам: истина от меня скрыта только мной. Следовательно, есть лишь одно средство ее открыть — отстранить мое “я”. Хорошо бы делали, думаю, если бы почаще повторяли известные слова Диогена, сказанные Александру: посторонись, мой друг, ты заслоняешь мне солнце».

\* Цитата из «Тартюфа» Мольера.

Для самоустранения же, прислушивается Петр Яковлевич к наставлениям опытных авторов, необходимо душиТЬ в себе малейшие желанья, направленные на удовлетворение тщеславия, меркантильных интересов и чувственных наслаждений; давить природную жадность, которая всегда боится упустить имеющееся и беспрестанно зовет к новым обладаниям. Тогда постепенно начнут отступать стремление нравиться, искание похвалы, естественная страсть господствовать и предпочитать свои цели намерениям других людей. Для искоренения амбициозных требований и испорченных удовольствий, встречает Петр Яковлевич не совсем приятную для него рекомендацию, полезны и болезни, и жизненные огорчения; надо только правильно их понимать. А вот советы о необходимости удалиться от светского шума, постигнуть очарование одиночества в непритязательном быту, молчать, если нечего сказать, ему сейчас более по душе.

Есть прямая связь, прослеживает Чаадаев логику авторов религиозных сочинений, между исполнением подобных наставлений, очищающим душу от устремлений к господству, и появлением совершенно особого, непонятного рассудку сердечного чувства, которое, записывает Петр Яковлевич на полях книги Эрскина «Заметки о внутренней очевидности истины откровенной религии», «хотя не объясняет необъяснимое, но дает возможность его почувствовать, и этого достаточно». Чувство «высшей истины» позволяет проникнуться страданиями Иисуса Христа, производящими, замечает он на полях той же книги, «сверхъестественное умиление, которое ничто другое не могло бы вызвать» и которое рождает в душе подлинную любовь. Только любовь реально изменяет сердце, подрубает корни духовного эгоизма, обновляет нравственную жизнь и совершенно изменяет всего человека, давая ему как бы новое существование. Любое же другое чувство действует лишь в границах «пагубного Я» и не пересоздает его естество.

Встречая подобные мысли, Чаадаев ставит многочисленные плюсы и с особенным вниманием просматривает страницы, где говорится об обратном действии «высшей истины» и любви на природу такого «я».

Однако, прекрасно понимая умом обратную симметрию развития мыслей и чувств, Чаадаев в сердце своем не ощущает достаточного сдвига в единственную спасительную для себя, по его мнению, сторону той достоверности высшего чувства, которой, как он писал на полях книги Эрскина, достаточно для объяснения необъяснимого. И вот уже в сочинении Сенеки он замечает: «...философия достоверностей. — Необходима доброта

Иисуса Христа. — Все имеет начало в совершенной мысли Бога. — Неизбежная недостаточность сил человека — следствие ограниченности его природы. — Отсюда вытекает необходимость помощи Бога. — Как ее получить. — Она для всех. она всеобща и не требует от человека большего, чем могут дать его силы. Она не предполагает сил, она их дает...»

## 8

Однако Чаадаев замечает, что молитвы и размышления над Евангелием, внося временами твердую уверенность в «высшем чувстве», не растворяют до конца в себе его сердце и даже в сокровенные моменты церковной службы рождают в уме все новые вопросы, властно требующие ответа и расширяющие круг «философии достоверностей». До сих пор его религиозное развитие напоминало опыт обращавшихся к христианству, во многих отношениях отличных друг от друга представителей разных эпох и народов. И именно расширение названного круга составляет своеобразие духовно-психологической основы, из которой вырастают особенности философского творчества Чаадаева. Не в силах отказаться от рассудочных доводов, он испытывает настоятельную потребность не только прочувствовать, чем пытался ограничиться ранее, но и объяснить необъяснимое, увидеть невидимое, согласовать притязания разума с «покорной верой», глобально и неопровержимо свести в своем уме все начала и концы.

На обложке «Опыта о безразличии в делах веры» Ламенне, религиозного писателя, существенно повлиявшего на автора «Философических писем», последний вопрошает: «Спасение? как?.. когда, когда оно будет... Заслуга? Как оно происходит, как зарождается?..» А в том же Сенеки Петр Яковлевич несколько зло уточняет направленность метафизического вопроса, обращаясь к каким-то современникам: «А Вы, порождения ехидны, воскреснете ли Вы?» Ответа на подобные вопросы он ищет в многочисленных сочинениях, но, не находя его, сердито записывает в одной из книг Гердера: «...этот человек все время твердит нам о воскресении, но так и не говорит, как он его понимает». В ней же, на титульном листе, он перечисляет не решенные для себя проблемы, показывающие, как занимает и волнует его загадка передачи «божественного действия» в реальной истории и в ее конечном завершении: «Дух Бога? Вдохновение? Благодать? Дети Божии? Пророчество? Сверхъестественное? Бо-

жественное? Духовное? Ум? Чудеса? Дары Божии? Глас Бога? Святой Дух?»

Евангелие же своей глубочайшей парадоксальностью, неоощаемыми чудесами, многозначными символами и притчами буквально раздирает ум Чаадаева, стремящегося в наиболее важном для него вопросе о воскресении и «царствии божием» логически разрешить волнующую его загадку. Он пытается и не может представить себе (то же бессилие испытывал Петр Яковлевич и при знакомстве с «тонкими метафизическими исследованиями» Облеухова), как трубит последняя труба и низвергается со своего престола дьявол, как скопцы, мытари и одноглазые блудники, вырвавшие другой, соблазнявший их, вместе с детьми и праведниками возносятся на небо, чтобы преобразиться и пить «новое вино в Царстве Отца Моего». Потустороннее спасение через божественное поправление смерти «позорной» смертью же и начертанный господом путь к нему через созидание «царства божия внутри нас», через всевозможные унижения, страдания и крестную муку неподступно отделяют его ум от всех концов и начал абсолютно непроницаемой тайной и угнетают его дух. «Мрачность христианской философии», — записывает он на одной из страниц сочинения Гердера о философии истории, думая, что английские сектанты более радушно смотрели на земные дела.

Вновь и вновь повторяя любезные его сердцу евангельские слова: «Поглощена смерть победою», Чаадаев не может не задавать себе вопрос о том, правильно ли понимают их, когда умопомрачительно соединяют последнее торжество с предельной немощью и относят его в столь непостижимую область. Ведь уже сам факт сотворения мира, думает он, нащупывая главный нерв своей «философии достоверностей», заполнил бездну менаду «небом» и «землей», а боговоплощение укрепило их неразрывную целостность повсеместным распространением христианства, сила которого наглядно видна в посюстороннем, в отличие от «неотмирного» православия, могуществе католичества, органично вошедшего в «философию достоверностей» русского мыслителя. Позднее, отвергая несправедливые обвинения в переходе в католическую веру, Петр Яковлевич будет объяснять свое пристрастие к «исповеданию Фенелонов, Паскалей, Лейбницев и Бэконов» тем, что оно лучше других «достигает своим здравым практическим смыслом человеческую природу и необходимую в ней связь наружного с внутренним, вещественного с духовным, формы с существом». По его мнению, без такого «реалистического» погружения «горнего» в «дольнее», пря-

мо выводимого из «обогащения тела человеческого в теле Христовом, таинственно с ним совокупаемым», христианство погубило бы посреди «великой борьбы всякого рода сил и понятий, на почве Европы собравшихся, которые составляют новейшую историю мыслящего человечества».

Именно посюсторонняя сила католической церкви, рассуждает Чаадаев, сумела одержать победу в этой борьбе, согласовать разнородные силы и понятия и объединить отличные друг от друга западные народы в одно целое. «Различные страны Европы, — пишет он в первом томе «Новой истории Франции» Гизо, — кажутся мне провинциями одной страны. В умственном мире Запада нет ни Франции, ни Германии, ни Англии, ни Италии. Есть одна Европа, и только». И это единство, считает он, увеличивая круг «философии достоверностей», цементирует «христианская идея», из которой, осознанно или подспудно, развиваются многие сферы общественной жизни, культуры и просвещения на Западе. Таким образом, европейские достижения (их нет в принявшей православие «неотмирной» России) являются, по его представлению, важнейшим промежуточным звеном в той огромной и могучей исторической цепи, начало которой теряется в «верховной воле». И поэтому, думает Петр Яковлевич, трансцендентно завязавшийся узел может и должен развязаться благополучно здесь, на земле, надо только уметь открывать во всей полноте реальной действительности действие изначальной божественной силы, пронизывающей всю мировую ткань и ведущей человеческий род к его конечному предназначению. Но не только открывать, но и отделять ее от своеволия чисто человеческой силы для безошибочности и эффективности дальнейшего продвижения к «земному царству».

Взять, например, науку, эту, как ее называет Чаадаев, «верховную владычицу нашего века», достижения которой он тщательно обобщает в кругу своей «философии достоверностей» и представители которой, по его мнению, необдуманно и неосторожно отрицают христианство на основе неизменяемости законов природы. Но ведь законы природы, возражает он мысленно, являются лишь человеческими понятиями об изученной области бытия и ничего не говорят нам о всем бытии и его грядущем состоянии. Например, если обыкновенно не наблюдается воскресение мертвых, то это не значит, что оно вообще никогда невозможно. Впрочем, сами законы природы, спорит он с отдельными учеными, представляют собой не отражение слепого механизма физико-химических процессов, а выражение определенного этапа во взаимопросвечивающемся развитии духов-

ного и материального миров. «Всякое движение, — записывает Петр Яковлевич в книге Био «Элементарный очерк экспериментальной физики», — бывает вызвано — движение интеллектуальное, как и материальное. В этом смысле и мысль передается. Ясность — не что иное, как развитие впервые вызванного Богом движения в неподвижном разуме. Поэтому мыслящие индивидуумы неизбежно должны быть приспособлены для восприятия сообщаемого движения, то есть они должны быть эластичны и сжимаемы — одни тела больше, другие меньше».

По мысли Чаадаева, наука должна осмысленным взором проследить в обратной перспективе свой путь до первого звена в цепи этого «вызванного» непрерывного движения, откуда прояснится природа ее достижений и станут понятными ее богостроительные, а не богоборческие задачи. «Нельзя сделать открытия, не предполагая заранее, — замечает он на полях сочинения госпожи де Сталь «О Германии», — затем оно доказывается и подтверждается наблюдением, опытом или рассуждением, но всегда необходимо предположение. Открытия, сделанные случайно, не принадлежат ни философии, ни даже человеческому уму, животные их тоже, без сомнения, делают, пусть же люди довольствуются этим предчувствием, пусть выражают его, ведь это божественная, пророческая способность человека».

Точно так же, ищет Чаадаев достоверности уже в новой области, обстоит дело и с философией, занятие которой он начинает считать главным делом своей жизни и результаты переоценки которой отразились позднее в его творчестве. Для большинства представителей современной школьной мудрости, забывших «возвышенные наставления» христианства, пишет он, имеется лишь «разум во времени или разум субъективный», созданный свободной человеческой волей. Однако, как и везде, «ничто в мире сознаний не может быть постигнуто совершенно обособленным, существующим самим собою», и «в объективной действительности разум человеческий на самом деле есть лишь постоянное воспроизведение мысли Бога».

Этой «печати абсолютного разума» Чаадаев не находит ни у сенсуалистов, опирающихся на ощущение, ни у Декарта, доверяющего интеллекту. Несмотря на противоположность исходных посылок, они имеют дело не с «дарованным изначала» разумом, а с непосредственно необходимым «здесь» и «теперь» и, стало быть, исследуют не подлинное духовное начало, а искаженное и извращенное человеческим произволом. Насколько далеко может заходить такой произвол, показывают подобные изречения Фихте: «Ты не нуждаешься ни в какой вещи вне себя, ты не

нуждаешься даже и в Боге, ты сам — бог для себя, сам ты и спаситель и избавитель твой». Произведения немецкого мыслителя Петр Яковлевич называет «самонадеянной философией всемогущества человеческого Я» и в одном из его сочинений раздраженно пишет по-латыни: «Наглость».

Особое значение в свете различий двух типов разума приобретают для него системы Канта и Шеллинга. Кантом он, как известно, интересовался еще в университете и в последующие годы. Но сейчас, в деревенской глуши, он в совершенно ином повороте внимательно проштудировал приобретенные в Дрездене «Критику практического разума» и «Критику чистого разума», своеобразно отразив свои выводы и двойственное отношение. На форзаце первой «Критики...» Чаадаев написал по-немецки, используя евангельские слова об Иоанне Крестителе как предтече Христа: «Он не был светом, но свидетельствовал о свете». Над названием же второй отметил: «Апологет адамова разума». Кант является для него апологетом этого ограниченного, греховного разума и неприемлем в той степени, в какой выдвигает принцип самодовлеемости человека и утверждает: «Что есть человек в нравственном отношении, или чем он должен быть, добрым или злым, как он сам себя сделал или должен сделать». Такие убеждения, по мнению Чаадаева, заставили философа впасть «в ложное учение об автономии человеческого разума, о каком-то императивном законе, находящемся внутри самого нашего разума и дающем ему способность собственным порывом возвышаться до всей полноты доступного ему совершенства».

Но вместе с тем, пишет Чаадаев, этот глубокий мыслитель, изучив досконально и добросовестно отвлеченный «искусственный разум», осадил его самоуверенные претензии и показал его предельные границы, чем и приоткрыл путь к свету. «Он выяснил, что разум этот принужден принять два самых глубоких своих убеждения, а именно: существование бога и неограниченное свое бытие, не имея возможности их доказать; он научил нас тому, что существует верховная логика, которая не подходит под нашу мерку и которая вне зависимости от нашей воли над нами тяготеет, и что имеется мир, отличный от нашего, а вместо с тем пребывающий одновременно с тем, в котором мы мечемся, и мир этот наш разум вынужден признать под опасением в противном случае самому свергнуться в небытие, и, наконец, что именно отсюда мы должны почерпнуть все наши познания, чтобы затем применить их к миру реальному. И все же в конце концов приходится признать и то, что ему было предназначено

только проложить свой путь философии и что если он оказал великие услуги человеческому духу, то лишь в том смысле, что заставил его вернуться вспять».

Скромно называя свои размышления лишь логическим следствием кантовских выводов, Петр Яковлевич, однако, уверен, что они и являются подлинным развитием нового пути к тому свету (бог, православный, библейский, намечает он только ему понятное сочетание пунктиров на «Критике практического разума»; единство, бог — на «Критике чистого разума»), свидетельствовать о котором был призван кенигсбергский мудрец. Свет этот, полагает он, воистину воссияет лишь тогда, когда сломаются непереходимые перегородки между «верховой логикой» и «нашими мерками», между миром «вещей в себе» и миром познаваемых явлений через восхождение к источнику духовного начала, в лоне которого зарождается «высший разум». Если бы Кант, замечает Чаадаев, избрал такую дорогу, то он пришел бы «к идее разума воистину чистого, потому что разум этот был бы простым отражением абсолютного разума и анализ этого разума привел бы его, без сомнения, к последствиям огромной важности». О том, каковы эти последствия и об их важности, Петр Яковлевич будет много говорить и «Философических письмах».

Сейчас же он погружается в творения Шеллинга, посоветовавшего ему, как известно, в Карлсбаде подождать выхода нового сочинения, отражающего его религиозную эволюцию. В ожидании свершения важного события, напишет Чаадаев через несколько лет автору «Системы трансцендентального идеализма», «я прочел, милостивый государь, все ваши произведения. Сказать, что я поднялся по вашим стопам на те высоты, куда в таком прекрасном порыве вознес вас ваш гений, было бы, может быть, самонадеянностью с моей стороны... но мне будет дозволено, думаю я, сказать вам, что изучение ваших произведений открыло мне новый мир; что при свете вашего разума мне приоткрылись в царстве мыслей такие области, которые дотопе были для меня совершенно закрытыми; что это изучение было для меня источником плодотворных и чарующих размышлений...»

Шеллинг привлек очередного русского почитателя прежде всего всеобъемлющим характером творческой деятельности, в развитии которой от самопознания через миропознание к богопознанию тот находил черты родственных устремлений. В отличие от Канта, рассуждает Петр Яковлевич морозным солнечным утром, укутавшись в швейцарский плед, Шеллинг гораздо

смелее и последовательнее выходил из сферы «пагубного Я» в своих попытках построить абсолютную теорию, которая в универсальном знании на основе частных наук должна раскрыть всеобщие начала природы и духа, «Счастливы государства, — читает он очень близкие и ему наставления немецкого мыслителя, — где люди, зрелые и богатые положительными знаниями, постоянно возвращаются к философии, чтобы освещать и обновлять дух свой и пребывать в постоянной связи с теми всеобщими началами, которые действительно управляют миром и связуют как бы в неразрывных узах все явления природы и мысли человеческой. Только от частого обращения души к этим общим началам образуются мужи, в полном смысле слова способные всегда остановиться перед проломом и не пугаться никакого явления, как бы грозно оно ни казалось, и вовсе не способные положить оружие перед мелочностью и невежеством даже тогда, когда, как нередко бывает, многолетняя общественная вялость позволила крайне посредственным людям возвыситься и крайне невежественным сделаться вожаками общества».

Идея мирового единства, в которой натурфилософия и трансцендентальная философия, «реализм» и «идеализм» не исключают, а дополняют друг друга в «высшем синтезе» и в которой провиденциально обосновывается исторический прогресс, показывала Чаадаеву, что из системы Шеллинга естественно должна проистечь религиозная философия (идея бога есть самая единичная из всех, записывает он в черновиках), а также стимулировала развитие его собственной мысли.

Однако «тонкий платонизм» этой системы, чей свет пробивается сквозь тьму созданных искусственным разумом «философских предрассудков», заставляет Петра Яковлевича написать в своем главном труде такие слова: «Но новое направление пребывает пока на таких эфирных высотах, на которых захватывает дыхание. Оно как бы витает в прозрачном воздухе, порою светясь каким-то мягким и неясным отблеском, порою теряясь в неясных или мрачных сумерках, так что можно принять его за одно из фантастических видений, которые подчас появляются на южном небе, а через мгновение исчезают, не оставляя следа ни в воздухе, ни в памяти. Будем надеяться, что прекрасная и величественная мысль эта вскоре опустится в обитаемые пространства: мы будем ее приветствовать с живейшим участием. А пока предоставим ей шествовать по ее извилистому пути, а сами пойдем намеченной себе дорогой, более надежной». И в упомянутом письме к Шеллингу отставной ротмистр прямо скажет ему: «...следуя за вами по вашим возвышенным

путям, мне часто доводилось приходить в конце концов не туда, куда приходили вы».

## 9

Испытывая необычное наслаждение от «беспредельных путешествий» по «океану абстракта», Чаадаев вместе с тем ищет, как и в Евангелии, необходимого (эту необходимость он особенно остро почувствовал, читая «мистический дневник» Облеухова) ему заземляющего корректива в отчасти знакомых еще с заграничного путешествия трудах социально ориентированных католических мыслителей Франции, существенно дополняющих его «философию достоверностей». У представителя «глубокой и мечтательной Германии» оставался в тени важнейший срез современной действительности — небывалая устремленность людей к общественной справедливости. И в этом вопросе, как и во всех прочих, необходимо, считает Петр Яковлевич, отличать «божественное действие» от человеческого произвола, ведущего к кровопролитию и чреватого, подобно декабристскому восстанию, неизбежными поражениями. По его мнению, революционные проповедники «забыли» христианское происхождение пропагандируемого ими социального братства. «Обратите внимание на слово “брат”, неизвестное древним, — обращается он к ним на полях одной из книг. — Могущество слова — очевидное действие христианства». И кровь будет бесполезно литься до тех пор, заключает Чаадаев, пока люди не обратятся в своих устремлениях к их истокам и традициям, на прочном фундаменте которых только и можно успешно строить заветное здание чаемого братства.

Подтверждение таким мыслям он находит в сочинениях Балланша (позднее он скажет, что на его симпатиях построил свою философию), духовное развитие которого отчасти напоминает ему собственное. В его книге «Человек без имени» Петр Яковлевич подчеркивает слова о крайнем смешении гнусных страстей и благих намерений в событиях Великой французской революции, когда необразованные ремесленники взялись за созидание судеб человеческого рода, как будто до них не существовало никакого общества. В этом хаосе человеческих мечтаний, оставивших в забвении совокупный опыт прошлого и сломя голову устремившихся в будущее, он видит последствия проявления в политической сфере кантовского «искусственного разума». Видимо, думая о своем сходном поведении в кругу дру-

зей декабристов, Чаадаев особо выделяет то место, где автор говорит о невозможности для него перейти барьер преступления и о собственных попытках умиротворить жаждущих испить из кровавой чаши.

В двухтомном сочинении «Опыт социальной палингенезии» Балланц, повествуя о личных метаморфозах, замечает, что «христианская муза» почти насильно увела его из среды революционеров и заставила обратиться к вековым традициям, через соответствующее преломление которых в различных эпохах до него доносится голос «первоначального откровения». Европа, читает Петр Яковлевич его призывы, не должна отказываться от старых католических устоев и воспоминаний, ибо только с помощью их непрерывной преемственности в новейшей цивилизации возможно ее дальнейшее поступательное движение. Общество, потерявшее свое прошлое, выпадает из цепи совершенствования и не имеет перспективного будущего. Такова воля Провидения, через своих избранников ведущая человеческий род к бесконечному прогрессу. Когда бог открылся человеку во времени, отмечает Чаадаев авторское рассуждение, то стал говорить на их языке. И в современную эпоху, когда затухают старые социальные верования и зарождаются новые, нужно уметь находить в этих изменениях единую нить замысла творца, обнаруживающуюся теперь в науке и либерализме, как некогда в Священном писании, требующем сейчас в соответствии с духом времени иных толкований. По убеждению Балланца, внявшего, как считает Петр Яковлевич, «высшему разуму», только «прогрессивный традиционализм», причудливо сочетающий в себе ультрамонтанство и свободолюбие, способен глобально и оптимистически обосновать социальную эволюцию, в которой полнота раскрытия человеческих способностей и станет конечным осуществлением религиозных начал: «Я надеюсь дать синтетическое изложение истории человечества. Я надеюсь показать историю общества от его темного зарождения и таинственной колыбели вплоть до высшего развития его силы и могущества... Осмелюсь сказать, что более широкий исторический синтез невозможен».

Такие задачи французского философа глубоко впечатляли Чаадаева, как волновали его и мысли соотечественника Балланца Ламенне. «Московский Ламенне» (так называл Петра Яковлевича А. И. Тургенев) находит у «французского» столь необходимое ему различие (и не в отвлеченных категориях, а в приложении к социальной действительности) между автономным и покорным «верховой воле» разумом. Главная ошибка

современного человека, замечает автор «Опыта о безразличии в делах веры», заключается в том, что ответы на вопросы о своем происхождении, долге и судьбе он ищет в собственном единичном сознании, а не в совокупности с другими людьми и с магистральными традициями, восходящими к началу всех времен. Замена связующего «божественного закона» разделяющим человеческим разумом является, по его мнению, основным принципом любой революции, обуславливающим остальные, производные и губительные, последствия — распад отделенных друг от друга сознаний и самоуничтожение человечества. В книге Ламенне Чаадаев отмечает любые примеры, подтверждающие этот вывод. В частности, его заинтересовывают наблюдения итальянских врачей, подсчитавших, что в прошлом веке католики, подчинявшиеся освященному традицией авторитету, с ума сошли в восемнадцать раз меньше, нежели протестанты, предпочитавшие опираться на свой «свободный» рассудок.

И чтобы не свихнуться всему человечеству, в сомнениях и колебаниях пребывающему сейчас между развалинами прошлого и сумерками будущего, необходимо, считает французский философ, отказаться от «частного разума» и восстановить, пока не поздно, преемственное развитие «первых истин», вложенных в души людей самим богом. Именно это развитие представляет собой память человеческого рода, с помощью которой, по его мнению, приобретается и постоянно сохраняется его единство, предопределяющее и эволюцию науки, искусства, законодательства, политики, всего общества в целом в гармонизирующем направлении: «Человеческий род един, как и отдельный человек, хотя различным образом, и даже его прогресс состоит отчасти в постоянном приближении к полному единству, к которому он тяготеет, следуя общему закону бытия».

Петру Яковлевичу нравится стремление Ламенне свести «на больших расстояниях» прошлое и будущее, найти точки соприкосновения и связи между христианством и новейшими проявлениями социально-культурной жизни и установить прочный союз религии и разума.

«Примирающие», «синтезирующие» мотивы еще во Франции привлекли внимание Чаадаева к произведениям Сен-Симона и его учеников, отвергавших личное спасение души и проповедовавших в «новом христианстве» сведение «неба» на «землю», соединение религии со всеми проявлениями бытия и эволюции «рода людского как органического целого»: «Вселенная — это и есть Бог, ибо все, что заключено в нем — небеса, земля, человечество, — все связано, все едино, все предназначе-

но для общей судьбы, все выражает любовь, вечное Провидение». Провидение же, обращается Сен-Симон к папе римскому, «имеет целью делать людей счастливыми не только на небе, но и на земле. Ваша миссия должна заключаться в том, чтобы организовать человеческий род по основному началу божественной морали...» А вследствие такой организации, как бы продолжает рассуждение учителя его последователь-соотечественник, «закон прогресса любви и надежды станет священным заветом, ибо христианская догма кары и воздаяния, основанная на представлении о царстве Сатаны, негодна Богу. Человек не проклят, он неуклонно поднимается с низших ступеней на высшие; люди не обречены на одиночество — они могут жить в самом тесном единении, нет отверженных — все избраны».

Подобное умонастроение прочно отложилось в сознании Петра Яковлевича. И когда он вскоре выступит с проповедью своей собственной философии, П. А. Вяземский скажет о нем, что он «сенсимонствует». Чаадаев же не сенсимонствовал, а по мере духовного развития, накопления исследовательских выводов и выработки собственной позиции как бы вытягивал христианство своей расширяющейся «философией достоверностей» из запредельной области и упорно продолжал искать его проявления во всей совокупности бытия, прежде всего, повторим, в ведущих тенденциях текущей социально-культурной и научной жизни.

## 10

Постепенно у Петра Яковлевича созревает решение доказать маловеерам, как он убеждал себя, «полную разумность» этого учения, для чего необходимо, замечает он на полях читаемых сочинений, «сочетаться с доктринами дня», использовать «рациональную манеру», применить физический, математический и биологический «маневр». Надо показать, думает Чаадаев, что христианство заключает в своем лоне не только науку, философию, историю, социологию, но и самую жизнь в единстве ее таинственной непрерывности и беспредельной преемственности. И только в таком религиозно обусловленном единстве, возражает он, с одной стороны, декабристам, а с другой — сторонникам «чисто человеческого» совершенствования, возможен прогресс, долженствующий, если он подлинный, основываться на христианской идее бесконечности. Готовясь сказать миру свое слово, Петр Яковлевич записывает на полях книги Ремера

«Очерк общественной жизни в Европе до начала шестнадцатого столетия»: «Христианство, кроме своего абсолютного значения, обладает еще способностью всегда согласовываться с потребностями своей эпохи, это результат совершенной истины самого его принципа. Бережно и нерушимо сохраняя основное своего учения, оно бесконечно изменяется в своей внешности. Только остается чувство подчиненности единству, принципу всей нравственной и прочей жизни. Это неперемнное следствие истины, которая всегда царила в христианстве и которой христианский ум должен всем пожертвовать, вплоть до своих самых глубоких убеждений».

Подчинение единству, в котором все области человеческой жизнедеятельности сводятся к религиозному началу, соответственно «жертвенно» освещаемому и предопределяющему дальнейший путь должной общественно-духовной эволюции, составляет основную тональность творческих устремлений Чаадаева, его «одну мысль», называемую им в упоминавшемся письме к Шеллингу «великой мыслью о слиянии философии с религией»: «С первой же минуты, как я начал философствовать, эта мысль встала передо мной, как светоч и цель всей моей умственной работы. Весь интерес моего существования, вся любознательность моего разума были поглощены этой единственной мыслью; и по мере того, как я подвигался в моем размышлении, я убеждался, что в ней лежит и главный интерес человечества. Каждая новая мысль, примыкавшая в моем уме к этой основной мысли, казалась мне камнем, который я приносил для построения храма, где все люди должны будут когда-нибудь сойтись для поклонения, в совершенном знании, явному Богу».

Многие страницы обдумываемых философических писем будут подчинены главной цели — доказательству наличия «первотолчка», «божественного откровения», «вмешательства Божьего промысла» в бытие природы и духа, без чего, по убеждению их автора, невозможно предположить закругленность мировой жизни, единство ее начала и конца. По логике Чаадаева, только признав божественное откровение в начале мировой жизни и его «покровительство» в ее процессе, можно обосновать царство божие в ее конце, поступательное движение социального прогресса на протяжении всего исторического пути.

Таким образом, наряду и в органической связи со слиянием философии с религией на монопольное право «одной мысли» в рассуждениях Петра Яковлевича претендует и то, что он называл «моей страстью к прогрессу человеческого разума», «предчувствием нового мира», «верой в будущее счастье человечества».

Хотя обретение этого счастья и обусловлено самостоятельным творчеством человека, оно возможно, по его мнению, лишь при прямом и постоянном воздействии «христианской истины», которая через непрерывное взаимодействие сознаний разных поколений образует канву социально-исторического развития, основу «всемирно-исторической традиции», способствующей «воспитанию человеческого рода» и поступательному, объективно целенаправленному прогрессу общества. Именно эта истина и является, как он полагал, действительным источником по-настоящему абсолютного прогресса. Потому «учение, основанное на верховном принципе *единства* и прямой передачи истины в непрерывном ряду его служителей, конечно, всего более отвечает истинному духу религии; ибо он всецело сводится к идее слияния всех существующих на свете нравственных сил в одну мысль, в одно чувство и к постепенному установлению социальной системы или *церкви*, которая должна водворить царство истины среди людей».

Такие общеметафизические мысли о всеединстве, социально-историческом прогрессе и всеобщем спасении на земле овладевают умом Петра Яковлевича и вскоре получают относительную конкретизацию в его основном труде — в философических письмах. «Да приидет Царствие Твое» — эти слова становятся отныне его девизом, нередко выступающим как своеобразный эпиграф и в частной переписке. Ему кажется, что он нашел ответ на терзавший его вопрос о времени, месте и характере воскресения. «Всегда, везде, для всех», — записывает он на полях одной из книг Ламенне и ощущает себя проводником идеи такого воскресения. Чаадаеву представляется также, что это ощущение, как бы примиряющее истину и заслоняющее ее «я», завершает многоуровневый поиск достоверности нового мировоззрения и преодолевает колебания между эгоизмом и любовью, счастьем и совершенством, смертью и вечной жизнью. Теперь он может «доказанно» и «разумно» подчиниться «верховой воле» и «законно» вести к свету заблудившихся в тупиках собственной свободы непокорных людей.

В восьмом философическом письме Петр Яковлевич станет вопрошать: «Не должен ли раздаваться в мире новый голос, связанный с ходом истории, такой, чтобы его призывы не были никому чужды, чтобы они одинаково гремели во всех концах земли и чтобы отзвуки и в нынешнем веке наперебой его охватывали и разносили из края в край вселенной». Он слышал в себе такой голос. Гениальные люди в настоящее время, тщательно подчеркивает он в читаемом сочинении, являются не

созидателями, ибо христианский закон освободил их от ненужных изобретений, а соединителями прерванной связи идей и эпох. Особыми знаками он выделяет в просматриваемых книгах рассуждения об «универсальных личностях», «вкусивших дара небесного» и обладающих «способностью будущего», пожертвовавших бессмертию интересами обыденного существования и занятых «вселенскими судьбами». В подобном ряду, состав которого он станет раскрывать в философических письмах, и видит себя Чаадаев, ибо считает, что верно понял христианский закон и пророчества.

Однако подобная самооценка и уверенность в правильном видении высшей истины приоткрывали окошко для постоянно изгоняемых самолюбия и «земного интереса», готовых в любую минуту практической жизни более изощренными путями подтачивать изнутри душевный покой и благородные теоретические устремления, противоположно направленные к единению в любви и к совершенству. Чаадаев ощущал в себе, говоря его собственными словами (в них слышатся отзвуки выучки «вольных каменщиков», хотя в устремлениях Петра Яковлевича лицо полемика с масонской идеей «внутренней церкви»), «верования высшего порядка», которые могут освободить от внешней обрядности, чтобы не мешать духу возноситься «к источнику всякой достоверности». А «косные громады» масс, замечает он, «движутся слепо, не зная сил, которые приводят их в движение, и не предвидя цели, к которой они влекутся». Соединить разрыв между «слепыми массами» и «новым пророком» и призвана, по мнению Чаадаева, его пережитая и продуманная философия, отрывочно изливающаяся на бумагу, но не находящая пока соответствующей формы.

Нужен был внешний толчок, не заставивший себя долго ждать.

